

DOI: 10.24290/1029-3736-2018-24-1-71-97

ИСТОКИ ДИСКУРСИВНОГО ПОДХОДА В ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

К.А. Пахалюк, асп. кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, Проспект Вернадского, 76, г. Москва, Россия, 119454*

В статье систематизируются истоки дискурсивного подхода в политических исследованиях. Внимание привлечено не столько к самому процессу становления данного направления (которое сформировалось в 1960–1970-е гг. под воздействием “лингвистического переворота”), сколько к тем направлениям мысли, которые сложились ранее (аналитическая философия, немецкая философия языка, русский формализм, семиотика, феноменология и структурализм) и оказали решительное влияние на решение проблемы не-нейтральности языка в восприятии и воспроизводстве политических отношений. Во многом опора на разные традиции предопределила противоречивость самого понятия дискурса. Нас интересуют не столько прямые отсылки (это привело бы к составлению весьма объемного и мало что проясняющего перечня), сколько конкретные интеллектуальные заимствования в виде определения проблемного поля, разметки, различения и обозначения исследовательского пространства. Ведь что значит изучать “не-нейтральность” языка? Можно обратить внимание на его логические структуры (аналитическая философия) или на “картины мира”, заложенные в естественный язык (“немецкая” школа). С формализмом связано изучение формальных структур текстов-нарративов (а поскольку мы не можем не создавать нарративы, то все наше знание обречено на зависимость от “литературности”), а со структурализмом – рассмотрение динамики по линии “язык/речь” или же инвариантных структур. Представители семиотики предложат собственный метаязык для корректного описания наблюдаемых явлений, а социальные конструктивисты, вышедшие из феноменологии, укажут на конструирующую роль языка как процесса intersубъективного взаимодействия и порождения социальных (включая политические) связей. Кроме того, в статье указывается на отличие дискурсивного подхода от конверсационного анализа и герменевтики.

Ключевые слова: дискурс, формализм, структурализм, аналитическая философия, история науки, интерпретативизм.

* Пахалюк Константин Александрович, e-mail: kap1914@yandex.ru

INTELLECTUAL ORIGINS OF DISCURSIVE ANALYSIS IN POLITICAL STUDIES

Pakhalyuk Konstantin A., Postgraduate student, Department of Political Theory, Moscow State Institute of International Relations (Ministry of Foreign Affairs), Prospect Vernadskogo, Moscow, Russian Federation, 119454, e-mail: kap1914@yandex.ru

The article studies the intellectual origins of a discursive approach in political science. Attention is drawn not to the process of discursive approach formation (which was formed in the 1960s–1970s under the influence of the “linguistic turn”), but to the many themes of thought that developed and had a decisive influence on the solution of the problem of language non-neutrality in the perception and reproduction of political relations. In many respects, the reliance on different traditions predetermined the inconsistency of the notion of discourse. We are interested not so much in direct referrals (this would lead to the compilation of a very voluminous list that allow little to understand), but rather specific intellectual borrowings in the form of identifying a problem field, marking out, distinguishing and denoting the research space. What does it mean to study language as a non-neutral dimension of comprehension and re-actualization of political processes? Analytical philosophy would draw attention to the logical structures of the language, German linguistic philosophy – to the “world view”, provided by the basic structure of everyday language. Formalists would make a research in text narratives, while structuralism insists on basic structures and provides “langue/parole” model. Semiotics is a general science about symbols, which provides specific meta-language, whereas “phenomenological tradition” is based on the idea that a language plays constitutive role in the process of the intersubjective interactions and creation of social relations.

Key words: *discourse, formalism, structuralism, analytical philosophy, history of science, interpretativism.*

Понятие дискурса предстает одним из наиболее неоднозначных в общественных науках¹, что мы связываем с разными контекстами его употребления. В центре дискурсивных исследований, как одного из прямых “продуктов” лингвистического переворота (1960–1970-е гг.) в социальных науках, находится идея о том, что используемый язык не является нейтральным инструментом передачи информации о реальности. Тем самым была отброшена мета-

¹ О неточностях в употреблении термина писали многие исследователи, например: *Коломиец С.В., Каменева В.А.* Дискурс прессы и рекламы как дискурс власти (гендерный аспект). Кемерово, 2012. С. 12; *Макаров М.Л.* Основы теории дискурса. М., 2006. С. 85–86; *Маслова В.А.* Политический дискурс: языковые игры или игры в слова? // Политическая лингвистика. 2008. № 24. С. 44; *Паршина О.Н.* Российская политическая речь. М., 2012. С. 9; *Робен Р.* Анализ дискурса на стыке лингвистики и гуманитарных наук: вечное недоразумение // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999. С. 192.

фора отражения, которая с эпохи Нового времени лежала в основе эпистемологии и предполагала, будто высказывание должно соответствовать объективному положению вещей². А потому предметное поле дискурсивных исследований задается именно проблемой не-нейтральности языка (в его коммуникативном, семиотическом и когнитивном измерениях) при осмыслении, формировании и воспроизводстве социальных отношений.

За последние 50 лет дискурсивный подход превратился в самостоятельное, междисциплинарное направление в политической науке. В рамках англо-американской академической политологии его относят к интерпретативистской парадигме, представители которой в 1970-х гг. под влиянием аналитической философии отказались от поиска каузальных связей в пользу выявления смыслов и значений (“лингвистический бихевиоризм”). Некоторые исследователи-интерпретативисты проявляли излишнюю склонность ориентироваться на метод (а не на решение конкретных проблем), ошибочно полагая, будто их парадигма лучше прочих подходит для изучения политической реальности³. Однако это не отрицает того, что при рассмотрении определенных явлений (например, идеологий, политической коммуникации, идентичности, механизмов легитимации и пр.) языковое измерение действительно имеет значение и требует собственных методов анализа.

К настоящему времени сложилось множество подходов к тому, как изучать соотношение “дискурсивного” и “политического”. По сути, каждый ученый самостоятельно решает данную проблему, формулируя теоретические рамки исследования, однако это не мешает выделить несколько оформившихся и устоявшихся направлений. Например, социолингвисты рассматривают взаимодействие между социальными институтами и формирующимися под их воздействием дискурсами, представители критического дискурс-анализа (Т. ван Дейк, Р. Водак, Н. Фэрклоу) акцентируют внимание на “скрытых идеологиях” и властных интенциях, которые реализуются через язык. Постструктуралисты (М. Фуко, Э. Саид, Э. Лаклау и Ш. Муфф), наоборот, рассматривают дискурс как семиотическую структуру, которая включает в себя разнообразные практики (не только речевые) и порождает объекты, о которых говорят. К ним близки представители “французской школы дискурс-анализа” (М. Пеше), которые отталкивались от психоанализа Ж. Лакана и структурного марксизма Л. Альтюссера. Предметом анализа явля-

² Печерская Н.В. Знать или называть: метафора как когнитивный ресурс социального знания // Полис. 2004. № 2. С. 94.

³ Шапиро Й. Бегство от реальности в гуманитарных науках. М., 2011. С. 72–82.

ются тексты, которые обладают “значимостью для определенного коллектива, т.е. анализируются тексты, которые содержат разделяемые убеждения, вызываемые или усиливаемые ими, иными словами, тексты, которые предполагают позицию в дискурсивном поле”⁴. Пятое аргументативное направление связано с работами Ю. Хабермаса, который рассматривает дискурс как пространство коммуникации, в котором осуществляется утверждение (в том числе посредством оспаривания) норм и ценностей, регулирующих взаимодействие внутри общества⁵. Он вводит нормативное понятие “идеальной языковой ситуации”, когда обсуждение независимо от властного господства, а участники стремятся рассмотреть все аргументы и прийти к согласию. Подобная ситуация вряд ли достижима в реальности, а потому нормативная модель становится инструментом анализа и сравнения конкретных дискурсивных практик.

Выделенные пять направлений вовсе не исчерпывают всех возможных (зачастую — авторских) подходов к анализу дискурсивного измерения политики. А потому для более детального понимания мы полагаем необходимым посредством ретроспективного метода определить его интеллектуальные истоки, которые прослеживаются как через развитие идей конкретных мыслителей, так и общность постановки проблем. Нас интересуют не столько прямые отсылки (это привело бы к составлению весьма объемного и мало что проясняющего перечня), сколько конкретные интеллектуальные заимствования в виде определения проблемного поля, разметки, различения и обозначения исследовательского пространства.

Исходную точку мы находим в философии Просвещения, а вернее в критике представлений Р. Декарта о развоплощенном разуме как центральном субъекте познания⁶. Особое место принадлежит И. Канту, который обозначил наличие априорных форм познания, укоренных в структуре человеческого мышления. С кантовской революции проявляется интерес к роли языка в этом процессе. Отметим, что у некоторых философов XVII—XVIII вв. (Т. Гоббс, Дж. Локк и Дж. Беркли) также обнаруживаются указания на необходимость преодоления несовершенства повседневного языка, который может затуманивать познание. Однако напрямую проблема общественной коммуникации и языкового выражения в то время не ставилась и не считалась значимой⁷. Стоит сразу обозначить две плоскости рассмотрения не-нейтральности языка:

⁴ *Serino P.* Как читают тексты во Франции? // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. С. 27–28.

⁵ *Уэст Д.* Континентальная философия. Введение. М., 2015. С. 121.

⁶ Там же. С. 32.

⁷ *Hacking I.* Why does language matter to philosophy? Cambridge, 1988. P. 15–53.

если изначально речь шла об эпистемологии и организации процесса познания, то в дальнейшем (начиная с поздней аналитической философии и феноменологии) акцент переместился на роль языка в создании социальной реальности. В общей сложности мы насчитали шесть “интеллектуальных традиций”, представляющих шесть путей поиска ответа на вопрос, как язык формирует политическое пространство.

Первая традиция, связанная с развитием кантианских представлений об априорных формах познания, восходит к аналитической философии, в которой критика была направлена на формирование “идеального” логического языка, преодолевшего бы “недостатки” языка естественного и сделавшего возможным “чистое” знание (Г. Фреге, Б. Рассел, ранний Л. Витгенштейн, Р. Карнап)⁸. Их работы в меньшей степени интересны для понимания дискурс-анализа в политической науке, нежели тех аналитических философов 1950–1960-х гг. (поздний Л. Витгенштейн, П. Стросон, Дж. Остин, П. Грайс, в меньшей степени У. Куайн), которые занимались изучением повседневного языка. Заимствованию подлежало общее представление о невозможности понимания социальной реальности вне языка, а также введенное Л. Витгенштейном понятие “языковых игр”⁹, которое отсылает к многочисленным сетям подобия, существующим в языке и организующим наш коллективный опыт: “Мы делаем предикатами вещей то, что заложено в наших способах их представления”. Отсюда проистекает интерес Л. Витгенштейна к изучению правил языковых игр (ведь без них никакая игра не возможна), что приводит к утверждению автоматизма языкового процесса¹⁰.

Конечно, сведение политического процесса к языковым играм мало что проясняет в сути политического взаимодействия, а потому влияние аналитической философии прослеживается через переименование отдельных способов логического анализа языковых явлений. Так, популярность получило понятие пресуппозиции (введено Г. Фреге и активно использовано П. Стросоном для критики Б. Рассела), под которым подразумевается скрытое семантическое значение, необходимое для понимания смысла выражения. Например, при описании внешней политики США во фразе “Американские империалисты пытаются усилить влияние в Европе” пресуппозицией станет идея, что внешняя политика США является империали-

⁸ *Макеева Л.Ю.* Язык, онтология и реализм. М., 2011. С. 8.

⁹ *Вдовиченко А.В.* Расставание с “языком”: критическая ретроспектива лингвистического знания. М., 2008. С. 192.

¹⁰ Там же. С. 208.

листической, а ее проводники исповедуют идеологию империализма. Выявление пресуппозиций в речи политических деятелей является одним из основных приемов вскрытия манипуляционных приемов¹¹.

Не менее популярной оказалась идея философа Дж. Остина разделять две функции высказываний: констативную (описывающую, отсылающую к определенному референту) и перформативную (речевой акт как действие, формирующее реальность, не подлежащее верификации с позиции истина/ложь)¹². Например, на этой основе Г. Мусихин предложил прочтение политических ритуалов как речевых актов, имеющих иллокутивное и перлокутивное воздействие¹³. Антрополог А. Юрчак развил идеи Дж. Остина в контексте анализа советского авторитетного дискурса (того самого “деревянного”, официозного языка, разоблачению которого посвящено немало работ¹⁴). Он рассмотрел его воспроизводство как перформативный акт, причем “констатирующая составляющая, напротив, постепенно уменьшалась или становилась неопределенной, открываясь для все новых, ранее непредсказуемых интерпретаций <...> В результате стандартизации и копирования формы идеологического языка общий смысл советской жизни отнюдь не сужался (как может показаться с первого взгляда и о чем ошибочно пишут многие исследователи), а напротив, расширялся”¹⁵. Другими словами, воспроизводство различных идеологических клише являлось определенным ритуалом, который, с одной стороны, формировал символическое единство, а с другой — в разных контекстах наполнялся собственными значениями и прагматическим смыслом. Отсюда и предостережение: нельзя буквалистски подходить к подобным речевым практикам.

Вторая интеллектуальная традиция восходит к критике кантовских форм априорного познания, основанной на изучении естественного языка и представлении о нем как о выразителе некоего народного духа. Первыми были И.Г. Гаманн и И.Г. Гердер, а затем их идеи развил В. Фон Гумбольдт, писавший о языке как о “духовной

¹¹ Михалева О.Л. Политический дискурс. Специфика манипулятивного воздействия. М., 2009. С. 114–115.

¹² Кэмерон Д. Разговорный дискурс. Харьков, 2015. С. 122.

¹³ Мусихин Г.И. “Блеск и нищета” политических ритуалов // Полития. 2015. № 2. С. 98–109.

¹⁴ Серю П. От прозрачности к непрозрачности в советском политическом дискурсе // Социоллингвистика и социология языка. Хрестоматия. Т. 2. / Отв. ред. Н.Б. Вахтин. СПб., 2015. С. 609–636; Том Ф. Описание новояза // Там же. С. 637–658; Янг Дж. Тоталитарный язык // Там же. С. 659–715.

¹⁵ Юрчак А. “Это было навсегда, пока не кончилось”. Последнее советское поколение. М., 2016. С. 73, 76.

энергии народа”¹⁶. В философии XIX в. критика языка становится неотъемлемой частью рассуждений о природе разума и процессов познания у К.Л. Рейнгольда (критика языковых привычек), О.Ф. Группе (указание на историчность и контекстуальность философских понятий и значение метафорических механизмов познания), К. Германа (язык как форма мышления, граница познания, что делает невозможным постулат о “мышлении-в-себе”) и Г. Гебера (язык есть средство включения человека в мир). Как видно, многие вопросы, которые активно обсуждались в социальных науках в середине XX в., оказались в определенной степени разработаны забытыми к тому времени философами.

В контексте изучения политических реалий с этой философской традицией связана идея языкового национализма: из тесных отношений “национального духа” и “национального языка” проистекало требование критики языка как способа защиты языковых норм, а вместе с ними и “чистоты национального духа”. Подобный консервативный союз пуризма и национализма не исчез и сегодня, причем на теоретическом уровне защита языка составляет предметную область эколингвистики (в поле зрения которой находится проблема “благоприятного или неблагоприятного существования и развития языка как сложной полифункциональной системы”¹⁷) и нормативной лингвистики (“разработка теоретических основ управления развитием языка и, следовательно, осознанием социальных и культурных процессов”¹⁸). Здесь уже политизируется сама фигура лингвиста, который предстает хранителем “национального духа”, а забота о языке превращается в гражданскую обязанность. В контексте нашего исследования влияние этой традиции наиболее ярко проявляется в тех работах когнитивных лингвистов (развивавших положения гипотезы Сепира-Уорфа), которые направлены на выявление в национальном языке неких “национальных картин мира” и других “ментальных инвариантных структур”, оказывающих влияние на мышление различных народов¹⁹.

Слабость данного направления заключается в языковом национализме и детерминизме, и, хотя в среде консервативных публицистов подобные представления до сих пор актуальны (обычно они опосредуются теорией “национальной ментальности” и “национальной души”), в целом академическая политология и социоло-

¹⁶ *Соболева М.Е.* Философия как критика языка в Германии. СПб, 2005. С. 21–22.

¹⁷ *Бернацкая А.А.* Эколингвистика и “критика языка” // *Экология языка и коммуникативная практика.* 2014. № 2. С. 27.

¹⁸ *Бугайский М.* Язык коммуникации. Харьков, 2010. С. 19.

¹⁹ См.: *Корнилов О.А.* Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. М., 2014.

гия отвергла их за излишний эссенциализм. Пожалуй, единственным исключением стало исследование Н.И. Бирюкова и В.М. Сергеева, которые для анализа становления институтов представительной власти в эпоху перестройки создали интересную теоретическую модель. Их анализ языкового материала направлен на выявление базовых структур мышления. Отталкиваясь от наработок в области когнитивной лингвистики, они рассматривали политическую культуру как единство трех составляющих: операционального опыта (типовые схемы поведения в определенных ситуациях), ценностей и социальной онтологии (которая “называет”, типологизирует определенные ситуации). Делая акцент на социальной онтологии и моделях социальной реальности, они анализируют традиционное русское политическое сознание, в котором выделяются две доминанты: постоянная апелляция к народности, причем сам “народ” рассматривается как метафизическая целокупность и носитель высшей истины (что было концептуализировано в понятии соборности), и ценность труда, понимаемого в вульгарно-материалистическом смысле. Через онтологический уровень объясняется принятие после революции 1917 г. марксистской идеологии, в частности, двух представлений: общественное развитие детерминировано некими более широкими процессами, в то время как раскол является негативным явлением. В период же перестройки “традиционная российская политическая культура — с ее презумпцией консенсуса, охватывающего всех участников политического процесса, как естественного состояния общества и нормы политической жизни, и с ее стремлением к нахождению политических решений, которые, в силу их объективной истинности, были бы обязательными для всех, — помешала адекватному представлению социальных интересов в парламенте и не позволила ему стать ареной выработки и достижения подлинного общественного консенсуса, основанного на компромиссе между силами, выражающими разные интересы и разные представления о будущем страны”²⁰. Эти идеи В.М. Сергеев параллельно развил в своей модели демократии как переговорного процесса²¹.

Третья “интеллектуальная традиция” берет начало в 1910-х гг., когда произошло становление литературоведческой школы русского формализма (В.Б. Шкловский, Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум, Р.О. Якобсон). Формалистов можно рассматривать как наследников “формальной” школы в языкознании, которая сложилась вокруг

²⁰ Бирюков Н.И., Сергеев В.М. Становление институтов представительной власти в современной России. М., 2004. С. 278.

²¹ См.: Сергеев В.М. Народовластие на службе элит. М., 2013.

Ф.Ф. Фортунатова в Московском университете в конце XIX в.²² В более широком контексте речь идет о русской интеллектуальной революции 1910–1930-х гг., значение которой в методологическом плане заключалось в стремлении при интерпретации культуры отойти и от позитивизма, и от трансцендентных представлений (неокантианство, культурфилософия) в пользу поиска имманентных структур, объясняющих процесс функционирования того или иного явления²³. Как писал В.Б. Шкловский, в русском формализме противопоставлялась фактура ткани (литература и поэзия сама по себе) и ее производство (конкретная деятельность). Значение имела не “речь” (т.е. личное выражение авторов), а именно приемы словесного оформления²⁴. Формалисты стремились выявить некую особую “литературность”, сформулировать метаязык литературы (в противовес романтическому представлению о литературе как выражении некой свободы, авторского вдохновения и духа народа) и – более широко – обнаружить новые принципы функционирования искусства²⁵. В определенной степени можно говорить о близости формализма к “новой критике” в литературоведении (Т.С. Элиот, А.А. Ричардс и др.), представители которой совершили атаку на идею о субъективном характере литературного творческого акта, вводя такие понятия как “органическая форма” произведения (те его структурные особенности, которые не создаются, а воспроизводятся автором) и “традиции”²⁶.

Под влиянием формалистов находился и литературовед В.Я. Пропп, который опубликовал в 1928 г. исследование морфологии волшебной сказки. Он выделил 31 функцию (“поступок действующего лица, определенный с точки зрения его значимости для хода действия”²⁷), составляющую “идеальный сюжет” волшебной сказки (в конкретном случае некоторые функции могут опускаться). Принципиальным является их жесткая последовательность одна за другой, что приводит к однотипности. В некоторых сказках различные функции могут облекаться в одну и ту же форму, что приводит В.Я. Проппа к мысли о том, что различение функций на практике требует обра-

²² Ильин М.В. Перспективы политического дискурс-анализа в России // Дискурс-Пи. 2006. № 1. С. 95.

²³ Русская интеллектуальная революция 1910–1930-х гг. М., 2016. С. 5.

²⁴ Бондарев А.П. Фердинанд де Соссюр и некоторые вопросы теории литературы // Фердинанд де Соссюр и современное гуманитарное знание. М., 2007. С. 118.

²⁵ Левченко Я. Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии. М., 2012. С. 29–30.

²⁶ Косиков Г.К. От структурализма к постструктурализму: проблемы методологии. М., 1998. С. 23–24.

²⁷ Пропп В.Я. Морфология “волшебной” сказки. Исторические корни волшебной сказки. М., 1998. С. 20.

щения к последствиям действия героя (т.е. к связи между функциями и их положения в общей структуре).

С точки зрения изучения дискурса формализм породил представление, что не просто язык, но сама организация текстов имеет значение. Эта идея была концептуализирована в рамках нарративного анализа. Описывая политическую реальность, мы превращаем ее в некую историю, нарратив, имеющий собственные (не связанные с изучаемым явлением) механизмы функционирования. Соответственно, не получается ли так, что мы самим фактом рассказывания историй вольным образом навязываем реальности то, чего в ней нет? И не мешает ли это нашему научному познанию? Например, одни из основателей нарративного анализа У. Лабов и Дж. Валетски (Waletzky) предлагали рассматривать рассказы как нарративы, которые придают передаваемому через них опыту темпоральную структуру и обладают формальными свойствами и функциями (в частности, референциальными и оценочными)²⁸.

Наиболее сильное влияние эти идеи оказали на развитие исторической науки, в которой, в частности, выделяется фигура Х. Уайта, предложившего рассматривать исследования историков как произведения, в которых исторические события выстроены на основании логики сюжета (здесь он опирается на литературоведческую теорию Н. Фрайя), а не просто нейтрально описывают причинно-следственные процессы²⁹. Классической стала предложенная семиологом А. Греймасом актантная модель описания отдельных микроуниверсумов (например, народных сказок, театра, отдельных текстов и пр.), которые сводятся к структуре ключевых акторов-актантов, связанных различными типами отношений (субъект—объект, адресат—адресант, помощник—вредитель). С помощью этой схемы он проанализировал “микроуниверсум” философа нового времени, активиста марксистской идеологии и сотрудников одной инвестиционной компании, полагая, что выявленная им модель позволяет уловить мифологические модели, с помощью которых “современный человек интерпретирует свое, по видимости рациональное, поведение”³⁰. Тем самым, нарративы не просто влияют на наши способы познания, но и, как отмечал американский политолог Х. Элкер (Alker), структурируют реальное экономическое,

²⁸ Labov W., Waletzky J. Narrative analysis: oral versions of personal experience // Sociolinguistics. The Essential Reading / Ed. by Ch. Paulston, G. Tucker. Oxford, 2006. P. 74–75.

²⁹ Берк П. Что такое культуральная история? М., 2015. С. 127–129; Потапова Н.Д. Лингвистический поворот в историографии. СПб., 2015. С. 108–115.

³⁰ Греймас А. Размышления об актантных моделях // Французская семиотика. От структурализма к постструктурализму. М., 2000. С. 167.

социальное и политическое взаимодействия: “Именно посредством них рассказчикам и слушателям сообщаются не только смысл, порядок и идентичность, но и практическое понимание идеалов, набора возможных способов действия, которым стоит или не стоит следовать”³¹.

Четвертая “интеллектуальная традиция”, пожалуй, наиболее важная для понимания дискурс-анализа, связана со структуралистской парадигмой в языкознании, и, в частности, трудами швейцарского лингвиста французского происхождения Ф. де Соссюра. Его лингвистическая теория, которая была ответом на засилье исторических, диахронных методов в лингвистике, покоится на разделении “языка” (как набора правил) и “речи” (индивидуальное использование языка в повседневности). Вопреки многим современникам Ф. де Соссюр настаивал, что именно структура как формальная система является основой, в то время как речь произвольна³². Помимо противопоставления статики и динамики не менее значимым оказался тезис о произвольности (т.е. не обусловленности) знака. В языке нет ничего, кроме правил, а используемые знаки произвольны относительно социальной реальности: “Если по отношению к выражаемому им понятию означающее представляется свободно выбранным, то, наоборот, по отношению к языковому коллективу, который им пользуется, оно не свободно, а навязано”³³. Тем самым референт исключался из рассмотрения лингвиста³⁴. Третья значимая для нас идея заключалась в разделении между значением (т.е. основным смыслом слова) и значимостью, которая в свою очередь определяется общим контекстом, в котором используются слова, те смыслы, которые начинают доминировать в зависимости от положения в общем ряду высказывания.

Нельзя не отметить близость структурализма и формализма, которых роднят обращение к формальному анализу, предпочтение синхронных методов перед диахронными (историческими) и изгнание психологизма³⁵. Вместе с тем между структурализмом и формализмом существуют и различия, главным образом выража-

³¹ *Alker H.* Rediscoveries and reformulations. Humanistic methodologies for international studies. Cambridge, 1996. P. 304.

³² *Алпатов В.М.* Соссюр и мировая наука // Фердинанд де Соссюр и современное гуманитарное знание. С. 20–21.

³³ Цит. по: *Кузнецов В.Г.* Парижская и Женевская ветви учеников и последователей Ф. де Соссюра // Фердинанд де Соссюр и современное гуманитарное знание... С. 33.

³⁴ *Силичев Д.А.* Ф. де Соссюр и современная философия // Фердинанд де Соссюр и современное гуманитарное знание... С. 84.

³⁵ См.: *Джеймисон Ф.* Марксизм и интерпретация культуры. М.; Екатеринбург, 2014. С. 67–68.

ющиеся в том, что структуры не могут изучаться независимо от содержания.

Можно выделить два пути влияния структурализма. Во-первых, из структурной лингвистики в середине XX столетия рождается дискурсивная лингвистика, в рамках которой многие лингвисты поставили перед собой задачу выйти за пределы изучения отдельного предложения (именно оно являлось высшим пределом именно лингвистического метода). А потому понятие дискурса очень часто используется в рамках таких направлений, как “лингвистика текста” и “лингвистика речи”. Одно понимание предложил в 1952 г. американский лингвист З. Харрис, который использовал дискурс именно в формалистском ключе, понимая под ним единицу выше предложения, а дискурс-анализ – как формальный метод, направленный на изучение элементов дискурса вне зависимости от их значения. Речь идет об анализе связного текста, в котором устанавливается место (occurrence) каждого элемента в рамках этого текста. З. Харрис писал именно о взаимосвязи, а не о социальном детерминизме: с его точки зрения, нет смысла утверждать, что в похожих ситуациях появляются похожие дискурсы³⁶. Тем самым исследование дискурса является своеобразным развитием дистрибутивных методов анализа, а в поле зрения оказывается именно последовательность элементов предложений (и их самих) в определенной ситуации.

Нам же интереснее, скорее, то понимание дискурса, которое восходит к работам бельгийского лингвиста Э. Бюиссанса. В 1943 г. он предложил под ним понимать пространство, образуемое между “языком” и “речью”³⁷. В дальнейшем понятие дискурса стало рассматриваться, скорее, с функционалистских позиций, а именно как “речь в социальном контексте”, “погруженная в жизнь” (Н.Д. Арутюнова). Т.В. Марченко достаточно точно сформулировала то, как дискурс понимают современные лингвисты: “Дискурсивный аспект предопределяет рассмотрение лингвистических явлений во взаимодействии с культурно-историческими, социально-ситуативными и коммуникативно-прагматическими характеристиками”³⁸.

Отметим, что в России проблематика дискурсивных исследований восходит к традиции изучения функциональных стилей. Соответственно, политический дискурс рассматривается как разновидность институционального дискурса, своеобразный подъязык. Становление и развитие этого подхода, получившего название

³⁶ *Harris Z.* Discourse analysis // *Language*. 1952. Vol. 28. N 1. P. 1–2.

³⁷ *Ильин М.В.* Перспективы политического дискурс-анализа в России // *Дискурс-Пи*. 2006. № 1. С. 94.

³⁸ *Марченко Т.В.* Манипулятивный потенциал интертекстуальных включений в политическом дискурсе. Ставрополь, 2014. С. 5.

“политической лингвистики”, в 1990–2000-х гг. происходило благодаря усилиям лингвистов Э.В. Бугаева и А.П. Чудинова, а в дальнейшем политолога О.Ф. Русаковой. Основными площадками являются журналы “Политическая лингвистика” и отчасти “Дискурс-Пи” (авторы которого в большей степени ориентированы на то, чтобы не останавливаться только на языковых явлениях, а представить более широкий социальный анализ). Как правило, исследователи, работающие в данном направлении, сосредоточиваются на лингвистическом аспекте политической коммуникации, пытаются определить ее особенности и структуру, провести различие между политическим и неполитическим (например, медийным) дискурсами, изучить риторические и манипулятивные стратегии, тактики достижения коммуникативной эффективности, рассмотреть политиков как языковых личностей³⁹. Подавляющее большинство подобных исследований направлено на решение “узкоцеховых” лингвистических задач, а нежелание работать именно в междисциплинарном разрезе (т.е. синтезировать теоретические и методологические аспекты сразу двух наук) делают результаты малоинтересными для политологов. Прекрасный показатель – журнал “Политическая лингвистика”: из 3019 ссылок в РИНЦ (на июль 2017 г.) на опубликованные в нем статьи только около 50 можно квалифицировать как ссылки в политологических изданиях (примечательно отсутствие в этом списке таких ведущих журналов, как “Полис” и “Полития”).

Впрочем, дискурсивные лингвисты активно заимствуют различные идеи из смежных дисциплин. Наибольшее влияние оказали аналитическая философия (та же теория речевых актов) и когнитивные науки. Представление о когнитивных моделях, например, Т. ван Дейк использует для изучения связности дискурса (как метакоммуникативного события). В некоторых случаях “подсказку” давал национальный язык. Здесь уместно вспомнить и французского лингвиста Э. Бенвениста, который рассматривал дискурс как речь, присвоенную субъектом. Опираясь на особенности французского языка, он разделял времена повествования (независимые от пространственно-временных координат говорящего) и времена речи (зависимые от последних)⁴⁰.

³⁹ См.: *Ларионова М.В.* Испанский газетно-публицистический дискурс: искусство информации или мастерство манипуляции? М., 2015; *Михалева О.Л.* Политический дискурс. Специфика манипулятивного воздействия; *Паришина О.Н.* Российская политическая речь; *Чудинов А.П.* Политическая лингвистика: Уч. пособ. М., 2012. С. 73–80; *Шейгал Е.И.* Семиотика политического дискурса. М., 2004. С. 32.

⁴⁰ См.: *Гийому Ж., Мальдидье Д.* О новых приемах интерпретации, или проблема смысла с точки зрения анализа дискурса // Квадратура смысла... С. 125; *Серио П.* Как читают тексты во Франции? // Там же. С. 14–15.

Второе направление связано с рецепцией структурализма в континентальной философии и отдельными социальными исследователями. Здесь стоит указать на влияние работ антрополога К. Леви-Стросса, который занимался выявлением инвариантных схем (они же – структуры), воспроизводимых неосознанно⁴¹. Структурализм формировался в оппозиции к тем научным представлениям, согласно которым объяснить определенное социальное явление – значит проследить причинно-следственные связи (в том числе в историческом, т.е. диахронном, срезе) или намерения (интенции) субъектов социальных отношений. Структуралисты, наоборот, полагают необходимым исходить из некоей целостной структуры (системы), а объяснение заключается в поиске не внешних причин и причинно-следственных (т.е. каузальных) цепочек, а в выявлении внутренней логики функционирования⁴². Стоит особо отметить: структурализм зарождался как изучение объектов определенного типа (принципиально отличных от тех, с которыми работают политологи) и даже основатели этого направления (например, К. Леви-Стросс) предостерегали от его повсеместного применения.

В контексте нашей статьи к таким инвариантным структурам можно отнести описанные выше модели нарративного анализа. Кроме того, французская школа дискурс-анализа (М. Пеше) рождается в 1960-е гг. посредством лингвистического осмысления “структурного марксизма” Л. Альтюссера (его государственные идеологические аппараты операционализируются с помощью языкового измерения). Несколько иным путем одновременно шел М. Фуко, однако ключевые его работы в области изучения дискурса (“Слова и вещи” и “Археология знания”) традиционно относятся к структуралистскому периоду его творчества. Дискурс – это не поле, создаваемое соотношением “слов” и “вещей”, а совокупность правил, образующих практики, которые в свою очередь постоянно образуют объекты, о которых говорится. Значение имеет не референция, а функциональные условия высказывания⁴³. Правила дискурса “определяют не немое существование реальности и не каноническое использование словарей, а порядок объектов”, или же другими словами – диспозитив. Неудивительно, что, касаясь проблемы концептов, философ отказывается прибегать к анализу их содержания. Ему важнее выйти на “доконцептуальный уровень”, т.е. на правила формирования концептов, позволяющие понять заданные формы последовательности, правомерности (до-

⁴¹ *Леви-Стросс К.* Структурная антропология. М., 2001. С. 32.

⁴² *Энафф М.* Клод Леви-Стросс и структурная антропология. М., 2010. С. 30–31.

⁴³ *Бурцев В.А.* Дискурсивная формация как единица анализа дискурса // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. №. 10. С. 11.

казательности), осуществить связи с другими концептами и объяснить возможные вариации в рамках одного дискурсивного поля: “Мы не связываем константы дискурса с идеальными структурами концептов, а описываем сетку, исходя из присущих дискурсу закономерностей... мы устанавливаем перевернутые ряды, размещаем чистые, лишённые противоречий намерения в сплетения сетки концептуальной совместимости и несовместимости и связываем эти сплетения с правилами, характеризующими дискурсивные практики”⁴⁴. Изучать дискурс значит изучать высказывание в его единичности и ограниченности, выявлять условия его существования, фиксировать границы, корреляции с другими высказываниями, обращать внимание на прерывности и противоречия: “...увидеть высказывание в узости и уникальности его употребления... определить условия его существования, более или менее точно обозначить его границы, установить связи с другими высказываниями, которые могли быть с ним связаны, — как показать механизм исключения других форм выражения”⁴⁵. Общая цель анализа — показать дискурс в его единичности, ответить на вопрос, почему нельзя было высказать иначе. За этой мыслью не стоит видеть “языковой империализм”: наличие недискурсивной реальности никогда не ставилось под сомнением самим М. Фуко, скорее его находка (которая, на наш взгляд, и определила популярность его дискурсивного “проекта”) заключается в том, что дискурс (то, как мы говорим) не отделим от обращения с объектами (практик).

Пятая традиция восходит к семиотике как самостоятельной науке о знаках. Современный исследователь М.В. Ильин включает ее наряду с математикой и морфологией в один из трех органов (“базовых методов”) современных наук. Будучи наукой о знаках, она может представлять собою мета-методологический подход социологических наук, в случае “очищения” от лингвистических представлений (тем самым будет воплощен идеал “чистой семиотики” Ч. Морриса)⁴⁶. Обычно выделяют две ветви семиотики. Одна (восходящая к Ч. Пирсу, У. Моррису) ориентирована на изучение процесса семиозиса, т.е. становления и трансформации знаковой реальности. Другая (“женевская школа”) рассматривает знаковую систему в качестве замкнутой, иерархической структуры, изменение одного элемента которой предполагает трансформацию всей структуры⁴⁷. Здесь прослеживается влияние Ф. де Соссюра, кото-

⁴⁴ Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С. 62.

⁴⁵ Там же. С. 96.

⁴⁶ Ильин М.В., Фомин И.В. И смысл, и вера. Семиотика в пространстве современной науки // Политическая наука. 2016. № 3. С. 30–46.

⁴⁷ Поселягин Н. Антропологический поворот в российских гуманитарных науках // Новое литературное обозрение. 2012. № 1. С. 27–36.

рый рассматривал семиологию как часть общей психологии (включая социальную).

Для нас важно подчеркнуть, что семиотика предложила методологический инструментарий для описания знаковых систем, который в свою очередь может быть заимствован исследователями дискурса: будь то выделение различных типов знаков (иконические, индексальные и символы) или трехчастной структуры любого текста (семантика, синтактика и прагматика). Опираясь на теорию языка Л. Ельмслева, французский лингвист Р. Барт предложил семиотическую трактовку мифа как особой знаковой формы, когда один знак (как соединение означающего и означаемого) становится означающим некоего другого означаемого (обычно абстрактной идеи)⁴⁸. В рамках первичной семиологической системы знак неразрывно связан с определенным действием, он принадлежит истории как процессу становления. Однако во второй семиологической системе изначальный смысл деформируется, используется как подручный запас (“он богат и покорен, его можно то приближать, то удалять”⁴⁹) для выражения некоей другой идеи: “...история улетучивается: она, словно идеальный слуга, все приготавливает, приносит, расставляет по местам, а с появлением хозяина бесшумно исчезает”⁵⁰. Например, выстрел с крейсера “Аврора” в контексте событий 24–25 октября 1917 г. в Петрограде в дальнейшем превратился в символ Октябрьской революции.

Отметим, что существует достаточно серьезная традиция семиотического описания политических процессов. Обзор зарубежных работ провела в середине 2000-е гг. Е.И. Шейгал, а потому мы не видим оснований заниматься повторением⁵¹. Кроме того, в определенной степени от семиотического подхода отталкивается и развивающееся в настоящее время в отечественной политологии направление “символической политики”, которое представлено прежде всего в работах О.Ю. Малиновой и С.П. Поцелуева⁵².

Шестая “интеллектуальная традиция” восходит к феноменологии, с ее акцентом на изучение феноменального мира и intersubъективный характер познания. Здесь мы можем выделить несколько путей влияния на изучение политической реальности.

⁴⁸ *Зенкин С.* Ролан Барт — теоретик и практик мифологии // Барт Р. Мифологии. М., 2014. С. 23–29.

⁴⁹ *Барт Р.* Указ. соч. С. 276.

⁵⁰ Там же. С. 314–315.

⁵¹ *Шейгал Е.И.* Указ. соч.

⁵² *Малинова О.Ю.* Символическая политика: контуры проблемного поля // Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс / Отв. ред. О.Ю. Малинова. М., 2012. С. 5–16; *Поцелуев С.П.* “Символическая политика”: к истории концепта // Там же. С. 17–53.

Во-первых, в политической философии на онтологии становления М. Хайдеггера выросло направление постфундаментализма с идеей радикальной случайности как ключевого онтологического принципа. Наиболее яркий представитель — постструктуралистская теория дискурса Э. Лаклау и Ш. Муфф⁵³, которые в рамках разработанной ими концепции делиберативной демократии рассматривали сферу политического как арену борьбы различных способов определения, фиксации социального мира. Отметим, и в постструктурализме, и в критическом дискурс-анализе (прежде всего Н. Фэрклоу) получило развитие выдвинутое Э. Гуссерлем понятие седиментации, а именно забвения того, что каждая социальная практика, воспринимаемая как очевидная, является результатом принятых ранее властных решений.

Во-вторых, феноменология кардинальным образом повлияла на становление социальной феноменологии (А. Шюц). Мы оставим в стороне тот факт, что философская феноменология (та, которую разрабатывал Э. Гуссерль) ориентирована на изучение мира до его рефлексии и процессов его конституирования в сознании человека. Заимствовав понятие “жизненного мира”, А. Шюц оказался скорее ближе к американскому прагматизму⁵⁴. Значимость для нас имеет то, что феноменологи обратили внимание на место естественного языка в конструировании социального мира: он рассматривается как социальная практика, самостоятельное действие. Именно в рамках этой традиции благодаря П. Бергману и Т. Лукману зарождается социальный конструктивизм. Можно говорить об определенной “социологической интервенции” в мир политики, который превращается в пространство взаимодействия подобное всем прочим “жизненным мирам”. Речь идет не о внимании к повседневности политического взаимодействия (она недоступна исследователю), а об интеллектуальной установке: рассматривать политическое как один из видов социального. Наиболее ярко это проявилось у представителей школы критического дискурс-анализа (КДА), которые исследовали то, как через язык и существующие правила коммуникации осуществляется политическое господство. Дискурс понимается как сложное коммуникативное событие, а проблема политической власти выносится де факто за скобки. Анализируя публичные выступления и материалы СМИ, представители КДА акцентировали внимание именно на языковой форме, несущей в себе скрытые идеологии. Речь могла идти, например, о синтаксических конструкциях (так, форма “я не расист, но...” позволяет

⁵³ См.: *Marchart O.* Post-foundational political thought. Edinburgh, 2007.

⁵⁴ *Вахштайн В.С.* Курьезы и парадоксы феноменологической интервенции // Социология власти. 2014. № 1. С. 6–7.

легитимировать расистские убеждения)⁵⁵, семантических макро-структурах (например, топик “мигранты” в новостях уже предполагает социально детерминированное, а потому идеологизированное включение одних и исключение других элементов) или дискурсивных интервенциях (как показал Н. Фэрклоу, дискурсы рекламы, бюрократии и медицинской терапии как сложившаяся форма коммуникации внутри этих социальных пространств начинают внедряться в другие области, тем самым подчиняя их чуждой логике)⁵⁶.

Шесть выделенных традиций представляют прежде всего теоретические горизонты, очертившие проблемное поле дискурсивного анализа политических процессов. Конечно, всегда можно предпринять более углубленное и детализированное изучение истоков, особенно если переходить на уровень отдельных исследователей и школ. Например, имеются основания говорить о сильном влиянии лингвистических воззрений Ф. Ницше на М. Фуко, В. Беньямина — на критический анализ дискурса, лингвистической антропологии и когнитивной лингвистики — на школу КДА. Ранние работы М.М. Бахтина в 1960-е гг. активно использовались французскими семиотиками (Ю. Кристева и Ц. Тодоров) для развития понятия интертекстуальности (причем бахтинское “слово” неточно переводилось как “дискурс”)⁵⁷. В свою очередь идеи бахтинского диалога оказались созвучны постструктурализму с его представлением о принципиальной неполноте идентичности и ее становлении в ходе диалога-взаимодействия (наиболее близкие по значению идеи можно обнаружить, например, в концепции дискурса Э. Лаклау и Ш. Муф)⁵⁸. На рубеже тысячелетий отечественный политолог Л.Е. Бляхер использовал бахтинский диалогизм для концептуализации кризисных социальных явлений и выявления пока еще не проявившихся смыслов⁵⁹, а А. Юрчак понятие “авторитетное слово” (которое близко к символической власти П. Бурдьё) берет для концептуализации особенностей советского официального дискурса⁶⁰. В контексте теории международных отношений бахтинский диалогизм частично заимствован норвежским политологом И. Нойманном для концептуализации диалогического подхода

⁵⁵ Дейк Т. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М., 2013. С. 149–191.

⁵⁶ Fairclough N. Language and neo-liberalism // Discourse and society. 2000. Vol. 11 (2). P. 147–148; *Idem*. Language and power. Edinburgh, 1996.

⁵⁷ Автономова Н. Открытая структура: Якобсон — Бахтин — Лотман — Гаспаров. М., 2009. С. 172–184.

⁵⁸ Морозов В.Е. Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. М., 2009. С. 240–242.

⁵⁹ Бляхер Л.Е. Нестабильные социальные состояния. М., 2005.

⁶⁰ Юрчак А. Указ. соч. С. 90–95.

к формированию политической идентичности, в центре которого фигура “Другого” признается как равной, так и отличной от “Я”⁶¹.

Установление конкретных взаимосвязей (между различными авторами) можно продолжить, однако оно будет избыточным, как та самая китайская карта у Х.Л. Борхеса, которая в конечном итоге оказалась равной поверхности земли. Стоит сделать, пожалуй, лишь несколько оговорок.

Во-первых, мы намеренно исключили из нашего рассмотрения герменевтику. Конечно, оба подхода представляют изучение текстов в определенном социальном контексте, однако их устремления различны. Прежде всего, ссылки на герменевтическую философию не характерны для исследователей дискурса, причем основные работы Х.-Г. Гадамера и П. Рикера были опубликованы в конце 1950–1970-х гг., т.е. лишь немного определили лингвистический поворот. При этом многие ученые, которые обращались к дискурсивной проблематике, скорее оппонировали герменевтике. Так, К. Скиннер, основатель Кембриджской школы дискурсивного анализа политических идей, считал, что он преодолевает недостатки теорий Х.-Г. Гадамера и П. Рикера, а потому называет их “устаревшими”⁶².

Один из основателей критического дискурс-анализа Т. ван Дейк писал, что его теоретические воззрения формировались под воздействием структурализма, постструктурализма, генеративной лингвистики Н. Хомского и семиотики (Р. Барт и П. Греймас) в оппозиции к герменевтической, “интерпретативистской” традиции (В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер, М. Хайдеггер), многие представители которой оказались связаны с нацистским прошлым: “...структурализм и генеративный формализм (а также публикации Н. Хомского на политическую тематику) в лингвистике (текста) и поэтике ассоциировались с прогрессивной политикой, в то время как традиционное, интерпретативистское литературоведение — с консервативными воззрениями и практиками”. Впрочем, в 2011 г. Т. ван Дейк отмечал, что герменевтика скорее должна рассматриваться как часть дискурсивных исследований (не наоборот!), но только если представители данного направления смогут перенять достижения дискурсивных лингвистов, которые выработали более точные методы анализа⁶³.

⁶¹ Нойманн И. Использование “другого”. Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004.

⁶² Skinner Q. Visions of politics. Vol 1. Regarding method. Cambridge, 2002. P. 28–29, 120.

⁶³ Dijk T. Discourse studies and hermeneutics // Discourse Studies. 2011. Vol. 13. N 5. P. 609–621.

Подчеркнем, что герменевтика ориентирована на понимание смыслов (в том числе скрытых), в то время как в центре дискурсивного подхода — не-нейтральность языка и изучение различных языковых или текстовых структур. При этом для представителей последнего характерен не поиск “истинных смыслов” и “скрытых значений”, а скорее процесс интерсубъективного взаимодействия, включая анализ систем имманентно-рассредоточенного смысла (термин С.Н. Зенкина): «Это не вещи и не символы. Они обладают смыслом, в отличие от вещей, имеющих только причину, но это “легкий”, чисто поверхностный смысл, тогда как смысл символов отсылает к герменевтической глубине <...> категория фактов, которые тоже обладают предсуществующим смыслом, но его невозможно отнести к какому-либо определенному индивидуализированному субъекту. Нет субъекта, который отвечал бы за смысл языка или за смысл амулета, — все общество в целом приписывает им смыслы, которые затем должна выявлять наука»⁶⁴. Хотя, конечно, взаимосвязи герменевтической традиции и отдельных теоретических воззрений представителей дискурсивного подхода могут представлять отдельный исследовательский интерес⁶⁵.

Во-вторых, разговорный анализ (в поле зрения которого повседневная разговорная речь, выстраиваемая “по ходу действия”) не стоит путать с тем, что делают собственно дискурсивные лингвисты. Принципиальное отличие (хотя нельзя не признать, что в англо-американской социолингвистике нередко оба термина используются как синонимы) заключается в том, что представители первого при анализе разговоров отказываются от обращения к неким более общим социальным структурам, если последние не актуализированы в изучаемых фрагментах речи. Различные механизмы, приемы, процедуры и правила, структурирующие живую речь, воспринимаются не абстрактно и формально, а как конкретные действия, совершаемые в конкретных условиях и направленные на решение определенных задач. Тем самым эти правила носят “феноменологический характер, поскольку указывают на задачи, рутинно решаемые в ходе работы разговора, а не на условия возникновения порядка”⁶⁶.

Конечно, выделенные шесть “интеллектуальных традиций” не могут описать все сформировавшееся за последние 50 лет поле

⁶⁴ Зенкин С.Н. Работы о теории. М., 2012. С. 17.

⁶⁵ Вен П. Фуко. Его мысль и личность. СПб., 2013. С. 8–28; Kogler H. The power of dialog. Critical hermeneutics after Gadamer and Foucault. Cambridge; Massachusetts; L., 1999. P. 195–215.

⁶⁶ Корбут А.М. Говорите по очереди: нетехническое введение в разговорный анализ // Социологическое обозрение. 2015. Т. 14. № 1. С. 133.

дискурсивных исследований в политологии, однако они составляют ту базу, на которой оно развивалось. Ведь что значит изучать “нейтральность” языка? Можно обратить внимание на логические структуры языка (аналитическая философия) или на “картины мира”, заложенные в естественный язык (“немецкая” школа). “Наследники” формализма добавляют формальные структуры текстов-нарративов (а поскольку мы не можем не создавать нарративы, то все наше знание обречено на зависимость от “литературности”), а структуралисты обратят внимание еще и на динамику по линии “язык/речь” или же на инвариантные структуры. Представители семиотики предложат собственный метаязык для корректного описания наблюдаемых явлений, а социальные конструктивисты, вышедшие из феноменологии, укажут на конструирующую роль языка как процесса intersubjectивного взаимодействия и порождения социальных (включая политические) связей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Автономова Н.* Открытая структура: Якобсон — Бахтин — Лотман — Гаспаров. М., 2009.
- Алпатов В.М.* Соссюр и мировая наука // Фердинанд де Соссюр и современное гуманитарное знание: Сб. ст. / Отв. ред. В.Г. Кузнецов. М., 2007. С. 12–27.
- Барт Р.* Мифологии. М., 2014.
- Берк П.* Что такое культуральная история? М., 2015.
- Бернацкая А.А.* Эколингвистика и “критика языка” // Экология языка и коммуникативная практика. 2014. № 2. С. 15–31.
- Бирюков Н.И., Сергеев В.М.* Становление институтов представительной власти в современной России. М., 2004.
- Бляхер Л.Е.* Нестабильные социальные состояния. М., 2005.
- Бондарев А.П.* Фердинанд де Соссюр и некоторые вопросы теории литературы // Фердинанд де Соссюр и современное гуманитарное знание: Сб. ст. / Отв. ред. В.Г. Кузнецов. М., 2007. С. 116–135.
- Бугайский М.* Язык коммуникации. Харьков, 2010.
- Бурцев В.А.* Дискурсивная формация как единица анализа дискурса // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. № 10. С. 9–16.
- Вахштайн В.С.* Курьезы и парадоксы феноменологической интервенции // Социология власти. 2014. № 1. С. 5–9.
- Вдовиченко А.В.* Расставание с “языком”: критическая ретроспектива лингвистического знания. М., 2008.
- Вен П.* Фуко. Его мысль и личность. СПб., 2013.
- Гийому Ж., Мальдидье Д.* О новых приемах интерпретации, или проблема смысла с точки зрения анализа дискурса // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999. С. 124–136.

- Греймас А.* Размышления об актантных моделях // Французская семиотика. От структурализма к постструктурализму. М., 2000. С. 152–170.
- Дейк Т.* Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М., 2013.
- Джеймисон Ф.* Марксизм и интерпретация культуры. М.; Екатеринбург, 2014.
- Зенкин С.Н.* Работы о теории. М., 2012.
- Зенкин С.* Ролан Барт — теоретик и практик мифологии // Барт Р. Мифологии. М., 2014. С. 23–29.
- Ильин М.В.* Перспективы политического дискурс-анализа в России // Дискурс-Пи. 2006. № 1. С. 93–96.
- Ильин М.В., Фомин И.В.* И смысл, и вера. Семиотика в пространстве современной науки // Политическая наука. 2016. № 3. С. 30–46.
- Коломиец С.В., Каменева В.А.* Дискурс прессы и рекламы как дискурс власти (гендерный аспект). Кемерово, 2012.
- Корбут А.М.* Говорите по очереди: нетехническое введение в разговорный анализ // Социологическое обозрение. 2015. Т. 14. № 1. С. 120–141.
- Корнилов О.А.* Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. М., 2014.
- Косиков Г.К.* От структурализма к постструктурализму: проблемы методологии. М., 1998.
- Кузнецов В.Г.* Парижская и Женевская ветви учеников и последователей Ф. де Соссюра // Фердинанд де Соссюр и современное гуманитарное знание: Сб. ст. / Отв. ред. В.Г. Кузнецов. М., 2007. С. 28–65.
- Кэмерон Д.* Разговорный дискурс. Харьков, 2015.
- Ларионова М.В.* Испанский газетно-публицистический дискурс: искусство информации или мастерство манипуляции? М., 2015.
- Леви-Стросс К.* Структурная антропология. М., 2001.
- Левченко Я.* Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии. М., 2012.
- Макаров М.Л.* Основы теории дискурса. М., 2006.
- Макеева Л.Ю.* Язык, онтология и реализм. М., 2011.
- Малинова О.Ю.* Символическая политика: контуры проблемного поля // Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс / Отв. ред. О.Ю. Малинова. М., 2012. С. 5–16.
- Марченко Т.В.* Манипулятивный потенциал интертекстуальных включений в политическом дискурсе. Ставрополь, 2014.
- Маслова В.А.* Политический дискурс: языковые игры или игры в слова? // Политическая лингвистика. 2008. № 24. С. 43–47.
- Михалева О.Л.* Политический дискурс. Специфика манипулятивного воздействия. М., 2009.
- Морозов В.Е.* Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. М., 2009.
- Мусихин Г.И.* “Блеск и нищета” политических ритуалов // Полития. 2015. № 2. С. 98–109.

Нойманн И. Использование “другого”. Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004.

Паршина О.Н. Российская политическая речь. М., 2012.

Печерская Н.В. Знать или называть: метафора как когнитивный ресурс социального знания // Полис. 2004. № 2. С. 93–105.

Поселягин Н. Антропологический поворот в российских гуманитарных науках // Новое литературное обозрение. 2012. № 1. С. 27–36.

Потапова Н.Д. Лингвистический поворот в историографии. СПб., 2015.

Поцелуев С.П. “Символическая политика”: к истории концепта // Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс / Отв. ред. О.Ю. Малинова. М., 2012. С. 17–53.

Пропп В.Я. Морфология “волшебной” сказки. Исторические корни волшебной сказки. М., 1998.

Робен Р. Анализ дискурса на стыке лингвистики и гуманитарных наук: вечное недоразумение // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999. С. 184–196.

Русская интеллектуальная революция 1910–1930-х гг. М., 2016.

Сергеев В.М. Народовластие на службе элит. М., 2013.

Серио П. Как читают тексты во Франции? // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999. С. 12–53.

Серио П. От прозрачности к непрозрачности в советском политическом дискурсе // Социолингвистика и социология языка. Хрестоматия. Т. 2. / Отв. ред. Н.Б. Вахтин. СПб., 2015. С. 609–636.

Силичев Д.А. Ф. де Соссюр и современная философия // Фердинанд де Соссюр и современное гуманитарное знание: Сб. ст. / Отв. ред. В.Г. Кузнецов. М., 2007. С. 84–115.

Соболева М.Е. Философия как “критика языка” в Германии. СПб., 2005.

Том Ф. Описание новояза // Социолингвистика и социология языка. Хрестоматия. Т. 2. / Отв. ред. Н.Б. Вахтин. СПб., 2015. С. 637–658.

Уэст Д. Континентальная философия. Введение. М., 2015.

Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.

Чудинов А.П. Политическая лингвистика: Уч. пособ. М., 2012.

Шапиро И. Бегство от реальности в гуманитарных науках. М., 2011.

Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М., 2004.

Энафф М. Клод Леви-Стросс и структурная антропология. М., 2010.

Юрчак А. “Это было навсегда пока не кончилось”. Последнее советское поколение. М., 2016.

Янг Дж. Тоталитарный язык // Социолингвистика и социология языка. Хрестоматия. Т. 2. / Отв. ред. Н.Б. Вахтин. СПб., 2015. С. 659–715.

REFERENCES

Alker H. Rediscoveries and reformulations. Humanistic methodologies for international studies. Cambridge, 1996.

Alpatov V.M. Sossjur i mirovaja nauka – Ferdinand de Sossjur i sovremennoe gumanitarnoe znanie. Sb. st. [Saussure and world science – Ferdinand de Sau-

ssure and modern humanitarian knowledge: Sat. Art] / Otv. red. V.G. Kuznecov. M., 2007. S. 12–27 (in Russian).

Avtonomova N. Otkrytaja struktura: Jakobson – Bahtin – Lotman – Gasparov [Open structure: Yakobson – Bakhtin – Lotman – Gasparov]. M., 2009 (in Russian).

Bart R. Mifologii [Mythology]. M., 2014 (in Russian).

Berk P. Chto takoe kul'tural'naja istorija? [What is the cultural history?]. M., 2015 (in Russian).

Bernackaja A.A. Jekolingvistika i “kritikajazyka” [Ecolinguistics and “criticism of the language”] // Jekologijazyka i kommunikativnaja praktika. 2014. N 2. S. 15–31 (in Russian).

Birjukov N.I., Sergeev V.M. Stanovlenie institutov predstavitel'noj vlasti v sovremennoj Rossii [Formation of institutions of representative power in modern Russia]. M., 2004 (in Russian).

Bljaher L.E. Nestabil'nye social'nye sostojanija [Unstable social conditions]. M., 2005 (in Russian).

Bondarev A.P. Ferdinand de Sossjur i nekotorye voprosy teorii literatury [Ferdinand de Saussure and some questions of the theory of literature] // Ferdinand de Sossjur i sovremennoe gumanitarnoe znanie. Sb. st. / Otv. red. V.G. Kuznecov. M., 2007. S. 116–135 (in Russian).

Bugajskij M. Jazyk kommunikacii [The language of communication]. Har'kov, 2010 (in Russian).

Burcev V.A. Diskursivnaja formacija kak edinica analiza diskursa [Discursive formation as a unit of discourse analysis] // Vestnik Tambovskogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki. 2008. N. 10. S. 9–16 (in Russian).

Chudinov A.P. Politicheskaja lingvistika. Uchbnoe posobie [Political Linguistics: Uch. Help.]. M., 2012 (in Russian).

Dejk T. Diskurs i vlast'. Rerezentacija dominirovanija v jazyke i kommunikacii [Discourse and Power. Representation of dominance in language and communication]. M., 2013 (in Russian).

Dijk T. Discourse studies and hermeneutics // Discourse Studies. 2011. Vol. 13. N 5. P. 609–621.

Dzhejmison F. Marksizm I interpretacija kul'tury [Marxism and the interpretation of culture]. M.; Ekaterinburg, 2014 (in Russian).

Fairclough N. Language and neo-liberalism // Discourse and society. 2000. Vol. 11 (2).

Fairclough N. Language and power. Edinburgh, 1996.

Fuko M. Arheologija znanija [Archeology of knowledge]. Kiev, 1996 (in Russian).

Gijomu Zh., Mal'did'e D. O novyh priemah interpretacii, ili problema smysla s tochki zrenija analiza diskursa [On new methods of interpretation, or the problem of meaning from the point of view of analyzing discourse] // Kvadratura smysla. Francuzskaja shkola analiza diskursa. M., 1999. S. 124–136 (in Russian).

Grejmas A. Razmyshlenija ob aktantnyh modeljah [Reflections on Actant Models] // Francuzskaja semiotika. Ot strukturalizma k poststrukturalizmu. M., 2000. S. 152–170 (in Russian).

Hacking I. Why does language matter to philosophy? Cambridge, 1988.

Harris Z. Discourse analysis // Language. 1952. Vol. 28. N 1. P. 1–30.

Il'in M.V. Perspektivy političeskogo diskurs-analiza v Rossii [Perspectives of political discourse analysis in Russia] // Diskurs-Pi. 2006. N 1. S. 93–96 (in Russian).

Il'in M.V., Fomin I.V. I smysl, i vera. Semiotika v prostranstve sovremennoj nauki [And the meaning, and faith. Semiotics in the Space of Modern Science] // Politicheskaja nauka. 2016. N 3. S. 30–46 (in Russian).

Jang Dzh. Totalitarnyj jazyk [Totalitarian Language] // Sociolingvistika I sociologija jazyka. Hrestomatija. T. 2. / Otv. red. N.B. Vahtin. SPb., 2015. S. 659–715 (in Russian).

Jenaff M. Klod Levi-Stross i strukturnaja antropologija [Claude Levi-Strauss and structural anthropology]. M., 2010 (in Russian).

Jurchak A. “Jeto bylo navsegda poka ne konchilos”. Poslednee sovetskoe pokolenie [“It was forever not over yet”. The last Soviet generation]. M., 2016 (in Russian).

Kjameron D. Razgovornyj diskurs [Spoken discourse]. Har'kov, 2015 (in Russian).

Kolomic S.V., Kameneva V.A. Diskurs pressy I reklamy kak diskurs vlasti (gendernyj aspekt) [Discourse of the press and advertising as a discourse of power (gender aspect)]. Kemerovo, 2012 (in Russian).

Kogler H. The power of dialog. Critical hermeneutics after Gadamer and Foucault. Cambridge; Massachusetts; L., 1999.

Korbut A.M. Govorite po ocheredi: netehnicheskoe vvedenie v konversacionny janaliz [Speak one by one: non-technical introduction to the conversation analysis] // Sociologicheskoe obozrenie. 2015. T. 14. N 1. S. 120–141 (in Russian).

Kornilov O.A. Jazykovye kartiny mira kak proizvodnye nacional'nyh mentalitetov [Language pictures of the world as derivatives of national mentality]. M., 2014 (in Russian).

Kosikov G.K. Ot strukturalizma k poststrukturalizmu: problem metodologii [From structuralism to poststructuralism: the problems of methodology]. M., 1998 (in Russian).

Kuznecov V.G. Parizhskaja i Zhenevskaja vetvi uchenikov i nasledovatelej F. de Sossjura [The Paris and Geneva branches of students and followers of F. de Saussure] // Ferdinand de Sossjur I sovremennoe gumanitarnoe znanie. Sb. st. / Otv. red. V.G. Kuznecov. M., 2007. S. 28–65 (in Russian).

Labov W., Waletzky J. Narrative analysis: oral versions of personal experience // Sociolinguistics. The Essential Reading / Ed. by Ch. Paulston, G. Tucker. Oxford, 2006. P. 74–104.

Larionova M.V. Ispanskij gazetno-publicisticheskij diskurs: iskusstvo informacii ili masterstvo manipuljacii? [Spanish newspaper and journalistic discourse: the art of information or the skill of manipulation?]. M., 2015 (in Russian).

Levchenko Ja. Drugaja nauka. Russkie formalisty v poiskah biografii [Another science. Russian formalists in search of a biography]. M., 2012 (in Russian).

Levi-Stross K. Strukturnaja antropologija [Structural anthropology]. M., 2001 (in Russian).

Makarov M.L. Osnovy teorii diskursa [Fundamentals of discourse theory]. M., 2006 (in Russian).

Makeeva L.Ju. Jazyk, ontologija i realizm [Language, ontology and realism]. M., 2011 (in Russian).

Malinova O.Ju. Simvolicheseskaja politika: kontury problemnogo polja [Symbolic politics: contours of the problem field] // Simvolicheseskaja politika: Sb. nauch. tr. Vyp. 1. Konstruirovanie predstavlenij o proshlom kak vlastnyj resurs / Otv. red. O.Ju. Malinova. M., 2012. S. 5–16 (in Russian).

Marchart O. Post-foundational political thought. Edinburgh, 2007.

Marchenko T.V. Manipuljativnyj potencial intertekstual'nyh vključenij v politicheskom diskurse [Manipulative potential of intertextual inclusions in political discourse]. Stavropol', 2014 (in Russian).

Maslova V.A. Politicheskij diskurs: jazykovye igry ili igry v slova? [Political discourse: language games or word games?] // Politicheskaja lingvistika. 2008. N 24. S. 43–47 (in Russian).

Mihaleva O.L. Politicheskij diskurs. Specifika manipuljativnogo vozdejstvija [Political discourse. Specificity of manipulative influence]. M., 2009 (in Russian).

Morozov V.E. Rossija i Drugie: identičnost' i granicy politicheskogo soobshhestva [Russia and Others: the identity and boundaries of political co-society]. M., 2009 (in Russian).

Musihin G.I. “Blesk i nishheta” politicheskikh ritualov [“Shine and poverty” of political rituals] // Politija. 2015. N 2. S. 98–109 (in Russian).

Nojmann I. Ispol'zovanie “drugogo”. Obrazy Vostoka v formirovanii evropejskikh identičnostej [The use of “another”. Images of the East in the formation of European identities]. M., 2004 (in Russian).

Parshina O.N. Rossijskaja politicheskaja rech' [Russian political speech]. M., 2012 (in Russian).

Pecherskaja N.V. Znat' ili nazyvaj': metafora kak kognitivnyj resurs social'nogo znanija [To know or call: metaphor as a cognitive resource of social knowledge] // Polis. 2004. N 2. S. 93–105 (in Russian).

Poceluev S.P. “Simvolicheseskaja politika”: k istorii koncepta [“Symbolic politics”: to the history of the concept] // Simvolicheseskaja politika: Sb. nauch. tr. Vyp. 1. Konstruirovanie predstavlenij o proshlom kak vlastnyj resurs / Otv. red. O.Ju. Malinova. M., 2012. S. 17–53 (in Russian).

Poseljagin N. Antropologičeskij povorot v rossijskikh gumanitarnyh naukah [Anthropological Turn in the Russian Humanities] // Novoe literaturnoe obozrenie. 2012. N 1. S. 27–36 (in Russian).

Potapova N.D. Lingvističeskij povorot v istoriografii [Linguistic turn in historiography]. SPb., 2015 (in Russian).

Propp V.Ja. Morfologija “volshebnoj” skazki. Istoricheskie korni volshebnoj skazki [Morphology of the “fairy tale”. Historical roots of a fairy tale]. M., 1998 (in Russian).

Roben R. Analiz diskursa na styke lingvistiki i gumanitarnyh nauk: vechnoe nedorazumenie [Analysis of discourse at the junction of linguistics and the humanities: an eternal misunderstanding] // Kvadratura smysla. Francuzskaja shkola analiza diskursa. M., 1999. S. 184–196 (in Russian).

Russkaja intellektual'naja revoljucija 1910–1930-h gg. [Russian intellectual revolution of 1910–1930-s.]. M., 2016 (in Russian).

Sergeev V.M. Narodovlastie na sluzhbe jelit [Democracy in the service of elites]. M., 2013 (in Russian).

Serio P. Kak chitajut teksty vo Francii? [How are the texts read in France?] // Kvadratura smysla. Francuzskaja shkola analiza diskursa. M., 1999. S. 12–53 (in Russian).

Serio P. Ot prozrachnosti k neprozrachnosti v sovetskom politicheskom diskurse [From Transparency to Opacity in Soviet Political Discourse] // Sociolingvistika i sociologija jazyka. Hrestomatija. T. 2. / Otv. red. N.B. Vahtin. SPb., 2015. S. 609–636 (in Russian).

Shapiro I. Begstvo ot real'nosti v gumanitarnyh naukah [Flight from reality in the humanities]. M., 2011 (in Russian).

Shejgal E.I. Semiotika politicheskogo diskursa [The semiotics of political discourse]. M., 2004 (in Russian).

Silichev D.A. F. de Sossjur i sovremennaja filosofija [F. de Saussure and modern philosophy] // Ferdinand de Sossjur i sovremennoe gumanitarnoe znanie. Sb. st. / Otv. red. V.G. Kuznecov. M., 2007. S. 84–115 (in Russian).

Skinner Q. Visions of politics. Vol 1. Regarding method. Cambridge, 2002.

Soboleva M.E. Filosofija kak “kritika jazyka” v Germanii [Philosophy as a “criticism of the language” in Germany]. SPb., 2005 (in Russian).

Tom F. Opisanie novojaza [Description of the newsletter] // Sociolingvistika I sociologija jazyka. Hrestomatija. T. 2. / Otv. red. N.B. Vahtin. SPb., 2015. S. 637–658 (in Russian).

Ujest D. Kontinental'naja filosofija. Vvedenie [Continental Philosophy. Introduction]. M., 2015 (in Russian).

Vahshtajn V.S. Kur'ezy i paradoksy fenomenologicheskoy intervencii [Curiosities and paradoxes of phenomenological intervention] // Sociologija vlasti. 2014. N 1. S. 5–9 (in Russian).

Vdovichenko A.V. Rasstavanie s “jazыkom”: kriticheskaja retrospektiva lingvisticheskogo znanija [Parting with the “language”: a critical retrospective of linguistic knowledge]. M., 2008 (in Russian).

Ven P. Fuko. Ego mysl' i lichnost' [Foucault. His thought and personality]. SPb., 2013 (in Russian).

Zenkin S.N. Raboty o teorii [Work on the theory]. M., 2012 (in Russian).

Zenkin S. Rolan Bart – teoretik i praktik mifologii [Roland Bart – theorist and practitioner of mythology] // Bart R. Mifologii. M., 2014. S. 23–29 (in Russian).